

Г. Георгиевский

Л.Н. ТОЛСТОЙ И Н.Ф. ФЕДОРОВ

Из личных воспоминаний

Среди друзей Толстого Федоров пользовался авторитетом и уважением едва ли меньшим, чем Толстой, а во многих отношениях перед ним преклонялся и сам Лев Николаевич. Я, как живой свидетель начала их дружбы, а потом размолвки, считаю любопытным посылить осветить этот период.

I

Николая Федоровича я знал в то время, когда он уже был преклонным старцем. Ему, по-видимому, был на исходе седьмой десяток лет.

Мне, совсем зеленому юноше, еще не сошедшему со школьной скамьи, его старость казалась еще более глубокой. И в то же время меня с первого же раза поразила какой-то избыток жизни в этом, казалось бы, уже изнуренном старике: подвижной, живой старик, звучный голос, быстрая и оживленная речь, богатство, разнообразие и острота мыслей — все говорило в Федорове не о старости, а скорее о расцвете сил этого необыкновенного человека.

С годами я не замечал в нем никакой большой перемены, и каким я помню его при первом знакомстве, таким же он представляется мне и в самые последние дни своей жизни. Он точно застыл, кристаллизовался в том виде, как я впервые узнал в Москве этого замечательного, благообразного старца.

Николай Федорович никогда не говорил о своих годах и не любил отвечать на вопросы любопытствовавших о его возрасте, о прошлом, о происхождении. На эти вопросы он умел давать остроумные ответы, нисколько, однако, не прощавшие вопрошавших по предметам их любопытства. На вопросы же наивные или навязчивые он или совершенно отмалчивался, или же с неудовольствием принимал удивленный вид и, в свою очередь, спрашивал:

— А зачем это вам нужно? Уж не пишете ли вы некролог мой? А может быть, вас подослали?

Николай Федорович во всю жизнь никому не обмолвился о самых интересных моментах своей биографии: о родителях и родных, о воспитании, о детстве, сверстниках, о молодости и начале службы, и очень мало об образовании своем в Ришельевском лицее в Одессе... Что все это означало? Как будто самая жизнь

Николая Федоровича началась только с того времени, как он пришел в Москву. Да, именно пришел, пешком, на Серпуховскую заставу, в 1863 году.

Эта безвестность целой половины жизни Николая Федоровича и самого происхождения его по временам как будто близки были к разгадке. Однажды на пасхальные каникулы Николай Федорович уехал в Петербург, куда никогда не ездил. Поездка заинтересовала всех его знакомых, и волею-неволею ему пришлось дать объяснение. По его словам, он ездил в Петербург потому, что там умер его родной брат, присяжный поверенный.

Это откровение еще более удивило всех. Он жил таким безродным и одиноким, таким философски равнодушным ко всякому родству, что в нем не предполагалось и самого чувства родственности, а тем более наличия каких-то близких родственников.

Когда Николай Федорович уже скончался, на панихиду и на погребение его приезжала маленькая старушка, объявила себя его родною сестрой. Но кто она и кто он?.. Никто не решился спросить ее и тем открыть завесу, так тщательно опущенную и плотно прикрывшую все прошлое Николая Федоровича... Потом от покойного Ю. П. Бартенева я слышал, что Николай Федорович был сыном, кажется, пензенского помещика, князя Г. Когда князь служил на Кавказе, он влюбился в молоденькую грузинскую красавицу, ради любви бросил службу, вернулся в имение и здесь прожил с нею несколько лет. Плодом этой любви и был Николай Федорович... Его мать была потом в замужестве за директором первой Московской гимназии.

Осенью и зимой его мало кто встречал на улицах. Он ходил только в начале и в конце дня, когда не совсем рассвело и не совсем смерклось, но когда в сумраке, и часто в тумане, нелегко признать даже хорошо знакомого человека. Летом и весной он ходил по улицам в том же самом костюме, в котором круглый год проводил время дома и на службе. Это не было рубище, а тем более это не была рвань. Костюм Николая Федоровича не был оборван. Он просто был ветх, даже очень ветх, но нисколько не нарушал общего привлекательного впечатления, какое производил своею внешностью этот благообразный старец. О ветхости костюма можно судить, например, по тому, что за два десятка лет, последних в жизни Николая Федоровича, я помню его только в двух переменах. Сначала, очень недолго, на нем и зиму и лето был белый пиджак, а потом лет 12—15, и тоже круглый год, он ходил в летнем однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы, цвета серовато-темного. На шее неизменно был повязан платок, кажется полотняный, а когда Николай Федорович простужался и хрипел, то на шее у него откуда-то появлялся шерстяной шарф. Зимой и осенью поверх этого костюма он одевал ватное пальто, настолько ветхое, что у него уцелела только одна пуговица. Поверх головы и шеи он закрывался пледом, а на голове носил или большой теплый картуз, или круглую, кажется, валеную шапочку.

В канцелярии Румянцевского музея, вероятно, уцелели многократные запросы уездных исправников о личности предъявителя канцелярского отпускного билета. Очевидно, в уездном городе, где появлялся Николай Федорович на летних ваканциях, он производил немалое смущение среди чинов местной полиции.

По билету он оказывался носителем довольно значительного чина табели о рангах, а по костюму... он казался исправнику чем-то странным. И вот почти каждое лето, едва Николай Федорович выезжал на каникулы к кому-нибудь из друзей, как в канцелярии музея появлялись полицейские запросы о нем.

Даже сам Лев Николаевич Толстой не всегда оставался равнодушным к костюму Николая Федоровича. По-видимому, ветхость костюма, но благообразная, удивляла Толстого, а даже, м. б., вызывала у него «зависть». По крайней мере, Николай Федорович со смехом говорил об этом всякий раз, когда новое лицо рассматривалось на его костюм. Это ему очень не нравилось, и он, желая остановить любопытство, говорил:

— Что вы на меня засмотрелись? Толстой, вон, тоже не спускает с меня глаз, так тот из зависти.

А однажды Николай Федорович очень резко остановил и любопытство Толстого. Вообще, он не церемонился с ним, но на этот раз он был даже раздражен. Они оба стояли за каталожным столом, мирно беседуя. Что-то в костюме Николая Федоровича привлекло внимание Толстого, и Толстой подошел к Николаю Федоровичу и, прищурив глаза, как говорил Николай Федорович, «смерил его с головы до ног». Это усиленное внимание не понравилось Николаю Федоровичу, и он запальчиво заметил Толстому:

— Что вы смотрите? Не хотите ли превзойти меня в своем опрошении?

Толстой был очень сконфужен, извинился и ушел. Самым привлекательным в Николае Федоровиче было, конечно, его лицо. Открытое, продолговатое, с совершенно правильными чертами, обрамленное белевшей бородой и увенчанное большим лбом, оно всегда светилось и оживлялось черными блестящими глазами, детски ясными и необыкновенно пронизывающими. На голове его не было волос, но кругом головы был значительный кружок их, вьющихся, длинных, так как он никогда не стригся.

К сожалению, Николай Федорович не позволил при жизни снять с себя фотографический портрет. Изображение лица он признавал только в иконописи и только в иконописных целях. Поэтому на все просьбы позволить сфотографировать его Николай Федорович отвечал решительным отказом. А когда однажды один из его почитателей принес с собой ручной аппарат и хотел тайком сфотографировать его за работой, Николай Федорович вдруг заметил это в последний момент и, очень огорченный, присел за стол и долго не хотел выходить из своей засады, пока не убедился, что вероломного приятеля уже нет в музее.

После кончины Николая Федоровича с него была снята маска, и известный художник Пастернак напечатал в «Весах» рисунок этой маски. Тут Николай Федорович как живой, только глаза закрыты. Есть еще портретный рисунок, сделанный Пастернаком, довольно удачно.

Заслуживает внимания и еще одна черта в безызвестности прошлого Николая Федоровича. Очень мало кто знал его фамилию. Имя и отчество его пользовались необыкновенной популярностью и в очень широких кругах русского образованного общества, особенно общества наших обеих столиц. Но по фамилии его никто не знал при жизни. Даже в самом Румянцевском музее, где он служил, не все

знали его фамилию. Когда я спросил фамилию Николая Федоровича у старого его сослуживца, последний очень неуверенно ответил мне:

— Кажется, Федоров, а впрочем, Бог его знает... справьтесь в канцелярии.

На такой мой вопрос к музейному швейцару я получил более оригинальный ответ:

— Какая фамилия? Николай Федорович — и более ничего. У них нет фамилии.

Когда я пошел к Николаю Федоровичу на квартиру в первый раз и разыскивал его жилье, мне пришлось обратиться к помощи неизвестного господина, шедшего по двору, где я предполагал найти интересовавшую меня квартиру.

— Где живет Федоров? — спросил я.

Мой собеседник, обитатель этого же дома, оказался в большом затруднении.

— Федоров?.. Кажется, у нас такого нет. Да это кто такой, Федоров?

— Николай Федорович...

— Ах, Николай Федорович, — перебил меня он и сейчас же указал, где мне найти его.

Квартира Николая Федоровича была еще скромнее его внешности. Он жил в Молочном переулке, в старом деревянном доме.

По узкой темной лестнице надо было подняться на крышу, где был крошечный мезонин, разгороженный пополам. Этот мезонин нанимали какие-то две старушки, занимавшие первую у входа половину. Вторую нанимал у них Николай Федорович за 5 рублей в месяц. Это была комнатка с маленьким окошечком. Вся мебель в ней ограничивалась столиком и сундуком в аршин длиною. Этот сундук служил Николаю Федоровичу и стулом, и креслом, и... постелью. На этих шестнадцати верхках Николай Федорович умудрялся спать, конечно без подушки и без какого-либо признака постели. Больше никакой мебели и вообще имущества у Николая Федоровича, безусловно, не было, и самый сундук всегда стоял пустым. Все имущество Николая Федоровича исчерпывалось несколькими листами бумаги, на которых он записывал свои мысли и которые всегда носил с собой в боковом кармане пальто или просто за подкладкой пальто, вследствие чего полы его были всегда оттопырены. Впрочем, эти тетради оставались у Николая Федоровича до тех пор, пока он не находил верного и восприимчивого слушателя, особенно если последний владел пером. Тогда Николай Федорович читал ему ту или другую тетрадь, смотря по интересовавшему слушателя вопросу, и, прочитавши, дарил эту тетрадь, в надежде, что посеянное вырастет и даст плод свой. Потребности Николая Федоровича были до крайности ограничены. Никакого стола он никогда себе не заводил и не пользовался ни завтраком, ни обедом, ни ужином. Все продовольствие его ограничивалось чаем, который он пил утром и вечером, с баранками; и за этот двукратный чай он платил своим хозяйкам около 3 рубля в месяц. Вот и все его потребности и траты на себя: 5 р. за квартиру и 3 р. за чай, всего 8 рублей в месяц.

Таким образом, казенного жалованья, которого он получал 33 р. в месяц, ему хватало с избытком. Остаток жалованья он в тот же день, в который получал, распределял своим пенсионерам, которых у него было слишком достаточно и кото-

рые неизменно являлись в музей по 20-м числам и терпеливо дежурили у дверей канцелярии, ожидая, когда выйдет Николай Федорович с жалованьем.

Любопытно, что одного пенсионера к Николаю Федоровичу направил Л.Н. ТОЛСТОЙ. Какой-то бедняк обратился к графу за помощью. Это было в 1896—1897 гг. Граф не отказал бедняку, но вручил ему письмо к Николаю Федоровичу, в котором просил Николая Федоровича помочь подателю письма.

Николай Федорович несколько месяцев носился с этим письмом и громко читал его своим знакомым. Оно иллюстрировало его убеждение в лицемерии Толстого и толстовства.

Любопытно, что ненужные ему деньги Николай Федорович раздавал в тот же день, и если какой-нибудь пенсионер приходил за своей долей на другой день, то уже ничего не получал: Николай Федорович никогда не держал денег.

Когда он лежал уже на смертном одре в Мариинской больнице и ему принесено было жалованье, он не сумел в тот же день раздать все свои деньги: одна золотая монета пятирублевого достоинства осталась у него и лежала на столике у его постели. Как она беспокоила Николая Федоровича! Всех навещавших его он убедительно просил освободить его от этого ненужного ему бремени и взять от него с собою и на неизменный отказ каждого раздраженно отворачивался и едва выговаривал свое неслестное мнение о деньгах:

— Проклятые!..

II

Мало я знаю людей, которые отрицательно относились к Николаю Федоровичу. Это были исключительно узкие чиновники, которые не одобряли все, что не вмещается в рамки уставов и инструкций. На этой почве у Николая Федоровича в жизни было довольно недоразумений. Достаточно сказать, что, получив высшее образование в Одессе и сделавшись педагогом, он не мог подолгу ужить-ся ни в одном учебном заведении. С 1854 года по 1868 год он был учителем истории и географии в разных уездных училищах в Липецке, Богородицке, Угличе, Одоеве, Богородске, Подольске. Прибыв в Москву и посетив Чертковскую библиотеку, где в то время служили П.И. Бартенев и Н.П. Барсуков, Ник. Фед. был замечен ими и остался здесь на службе, получив затем должность дежурного чиновника при читальном зале Румянцевского музея. На этой должности он неизменно служил в течение 25 лет, разумеется потому, что здесь его ценили и любили, хотя в нем и не укладывалось обычное понятие о чиновнике. Отсюда-то и являлись иногда недоразумения, которые отнюдь не свидетельствовали об отрицательном отношении к самому Николаю Федоровичу и его работе. Чаше всего недоразумения происходили по поводу открытия музея. Николай Федорович всегда являлся к восьми часам утра на службу, а двери музея были закрыты, потому что зритель проспал. Николай Федорович принимал закрытые двери за намек на ненужность его работы, огорченный уходил домой, а ко времени прихода чиновников уже посылал прошение об отставке. Потом стоило больших

трудов убедить его вернуться к своей должности, которая без него не исполнялась.

Если Николай Федорович не держался строго правил, которые мешали ему трудиться сверх нормы, то, с другой стороны, он был беспощадным исполнителем и контролером за точностью в исполнении всех правил, которые оберегали общественное достояние и обеспечивали его наилучшее использование. Так, во всю жизнь он не только никому не дал на дом ни одной музейной книги, но и сам ни разу не воспользовался этим своим правом. Когда же он увидел, что новый библиотекарь музея, профессор Н.И.С., широко пользовался сам музейными книгами и не препятствовал другим брать их домой, Николай Федорович, не находя на привычных местах самых необходимых книг, ушел в отставку с пенсией в 17 р. 51 к.

Лица, посторонние музею, знакомились с Николаем Федоровичем через посредство своих занятий. Изучая какой-либо вопрос, посетитель музея находил в кипе потребованных им книг еще 2-3 книги, которых он совсем не требовал, о существовании которых и не подозревал. А между тем содержание этих неожиданных книг прямо отвечало на поставленную им себе задачу. На вопрос посетителя, кому он обязан присылкою этих книг, получался ответ:

— Это вам прислал Николай Федорович.

Новые книжки освещали вопрос с новых, часто неожиданных, непредвиденных сторон. Вопрос углублялся, изучение затягивалось, требовались и присылались все новые книги, и наконец совсем зарывшийся ученый непременно получал приглашение:

— Вас просит к себе Николай Федорович.

Тут уже завязывалось личное знакомство с Николаем Федоровичем, с тем чтобы потом никогда не прерываться и служить постоянным и неисчерпаемым источником не только для всестороннего изучения тех или других специальных вопросов, но нередко и для выработки и создания целого мирозерцания.

В сущности, обязанности Николая Федоровича в библиотеке были очень скромны. Он должен был подыскивать по каталогу музея те книги, которые по требовательным листкам выдавались потом в читальный зал. Николай Федорович должен был прочитать все эти листки и по каталогу отметить на них места требуемых книг. Таким образом мимо Николая Федоровича не проходило ни одно требование на книги и без его предварительного просмотра не выдавалась ни одна книга в читальный зал. Ему известно было каждое требование, но, разумеется, в число его служебных обязанностей вовсе не входило определение по этим требованиям вопроса, интересовавшего читателя, степени его подготовленности к занятиям этим вопросом и характера его осведомленности в нем.

Николай Федорович по всем требованиям на книги, какие подают в читальном зале посетители, сразу узнавал серьезного работника, и тогда уже он заглазно всюю душою привязывался к этому человеку и старался быть полезным ему, чем только мог.

А содействие его в этом отношении было беспримерно драгоценным. Он был прямо исключительным библиоманом и библиографом. Он знал как свои пять

пальцев всю библиотеку Румянцевского музея, и очень часто для него было легче и скорее взять нужную книгу прямо с полки, чем отыскивать ее при помощи каталога. Но знанием книг тут дело не ограничивалось: Николаю Федоровичу известно было и содержание книг Румянцевской библиотеки. Он перечитал их, кажется, все и все прочитанное держал в своей колоссальной памяти. Этому содействовало и то, что не было вопроса, которым он бы не интересовался. Он все изучал, для него ничего не было нового и незнакомого. Во всем он всегда шел впереди общепризнанных авторитетов и специалистов, и буквально не было вопроса, к которому, даже самому на первый взгляд маленькому, он не относился бы с таким же интересом и с такой же теплотой, как и к самым коренным основам знания и веры. Ник. Федорович говорил: «Не надо забывать, что под книгою кроется человек... Уважайте же книгу из-за любви и почтения к человеку». Тут крылась целая философская теория, и отношение его к книгам и библиотечному делу вытекало из его мировоззрения и взглядов на книги. По его взглядам, все книги одинаково ценны в библиотеке. Здесь не должно быть важных и неважных, любимых и презираемых, ходячих и вышедших из употребления. Он говорил, что «библиотека не гражданское общество», которое исключает умерших из своего списка. Она, как и церковь, не «юридическое учреждение». Книга — это постоянное звено между прошедшим, настоящим и будущим.

В горячих речах Николай Федорович выражал негодование веку дешевых фабрикатов и фальсификации за то, что, тратя тысячи на рекламы, этот век не стыдится выгадывать гроши на чернилах и бумаге, настолько теперь непрочных, что память об эпохе ненасытной наживы исчезает с изумительной быстротой.

«Уважение к книге — фальшь, а презрение — действительность» — так характеризовал он отношение к книге в XIX веке.

Я не буду приводить примеров необыкновенного уважения Николая Федоровича к книгам и того разнообразия вопросов, в которых он мог руководить работой даже специалистов. Эти примеры я уже приводил в печати, хотя и не под своей фамилией. Здесь ограничусь приведением одного факта, свидетелем которого я был. В начале девятисотых годов ехала партия инженеров на изыскания Сибирского железнодорожного пути, и, проезжая мимо Москвы, заглянули в Румянцевский музей, конечно для очистки совести, а вовсе не уверенные в возможности найти что-либо для себя новое и интересное. В подобных случаях, когда кто-нибудь обращался в библиотеку с просьбой указать книги, имеющиеся по известному вопросу, его неизменно направляли к Николаю Федоровичу. К нему же привели и инженеров. После очень недолгого разговора инженеры услышали название такого описания Сибири, о котором раньше и не подозревали. А когда инженеры показали Николаю Федоровичу проект предполагавшегося пути, то Николай Федорович сразу заметил два упущения на карте: в одном месте была неверно показана высота горы, а в другом совсем пропущен большой ручей. Инженеры хотя неуверенно, но все-таки поспорили и стояли за верность своей карты. Однако на возвратном пути, года через два, они прислали одного своего сочлена к Николаю Федоровичу засвидетельствовать ему свое уважение и сказать, что он был безусловно прав.

Обширные знания и беспримерная осведомленность в текущей литературе и в состоянии Румянцевской библиотеки, какими обладал Николай Федорович, давали возможность музею ежегодно составлять такие требования на иностранные издания для пополнения библиотеки, которыми восхищались даже за границей. Однажды директор Дашков, будучи за границей, зашел в книжный магазин постоянного музейного поставщика. Когда в магазине узнали посетителя, то стали настойчиво упрасивать поскорее прислать списки новых изданий, необходимых для пополнения библиотеки. Дашков очень заинтересовался побуждением, заставившим фирму просить об ускорении требования, и узнал, что по списку Румянцевского музея фирма рассылает новые издания всем своим клиентам, среди которых главное место занимают университеты и другие ученые учреждения за границей.

Эти богатые знания были добыты Н. Ф. путем непрерывного тяжелого труда. Он начинал трудовой день со светом и со светом заканчивал его, иронизируя над современными заботами об установлении восьмичасового рабочего дня, или, как он выражался, «шестнадцатичасовой праздности», он всю жизнь только расширял свой труд. Первым придя в музей, он подыскивал затребованные книги, рылся в каталогах и библиографических пособиях, бегом, несмотря на свои 70 лет, шагал он по библиотеке за книгами, пополнял свои знания и читал новые книги. Замечательно, что для чтения на дому он всегда подписывался в платных библиотеках, вносил ежемесячно там положенную сумму и оттуда брал книги для себя: книги Румянцевской библиотеки были для него неприкосновенны, и ими он пользовался только в помещении самой библиотеки.

Сам по себе больной старец, он не знал усталости за работой. Вот замечательный факт: начавши свой трудовой день, он ни разу во всю жизнь не садился до окончания своего рабочего дня. Когда же болезнь ног вынуждала его искать посторонней опоры, он позволял себе подставить к больной ноге стул. Другая нога в это время должна была продолжать свою службу стоя.

Все это — и личный аскетизм, и беспримерное бескорыстие, и сверхурочный добровольный труд, и исключительная начитанность — лишь одна сторона в замечательной жизни Н. Ф. Правда, она самая заметная и всем доступная, а потому и самая популярная. Но рядом с этим Н. Ф. был и глубоким мыслителем, философские воззрения которого приводили в восторг и Достоевского, и В. С. Соловьева. Перед жизнью его, перед единством мысли и дела, которым всегда отличался Н. Ф., преклонялся и граф Л. Н. Толстой.

III

Николай Федорович уже давно стал определенной и яркой личностью. Его мировоззрение сложилось в стройную и законченную систему. Его жизнь не знала и не имела других форм, кроме строжайшего следования своим убеждениям, кроме полного и беспрекословного воплощения и осуществления руководящих взглядов его философии, воплощения во всем, до мелочей, суровости аскетиче-

ской нищеты и самозабвения. Это был глубокий мыслитель, мудрость которого оправдывала себя не только в логической стройности системы, но и в высоте его взглядов, и в безукоризненной чистоте его жизни... Его жизнь была точным зеркалом его убеждений. Достаточно было видеть Н.Ф. и наблюдать его жизнь, чтобы узнать его философию, оценить достоинство руководящих им идеалов и преклониться перед единством мысли в этом необыкновенном человеке, перед постоянным взаимодействием его убеждений и жизни. Все в нем отображало его идеалы, вся жизнь его была неустанным служением им, и он не знал иных поступков, кроме тех, которые вызывались его высокой моралью. «Святой старец» — вот общее признание, невольно создавшееся даже при поверхностном знакомстве с Н.Ф.

В это время граф Л.Н. Толстой только приступил к выработке своего собственного мировоззрения. Не обладая глубоким и разносторонним образованием, Толстой не испытал и жгучей, неодолимой потребности в коренной ломке всего строя своей жизни. Поэтому процесс выработки миросозерцания у него шел особым, рассудочным путем, без влияния на жизнь и без взаимодействия с ней и с таким слабым отражением идей в поступках, что весьма нередко жизнь его противоречила его словам и его учению. Процесс мысли и процесс воли у него не всегда совпадали, а иногда и резко противоречили друг другу.

Неудивительно, что в Н.Ф. Толстого прежде и больше всего поразили цельность личности и единство, неразрывность мысли и воли. Вот почему Толстой после первого же знакомства своего с Н.Ф. в 1881 году записал в дневнике удивление Н.Ф. по поводу призыва Толстого к исполнению заповедей:

«Исполнять? Это само собой разумеется».

В том же дневнике Толстой так передал первое свое впечатление: «Н.Ф. — святой. Каморка. Нет белья, нет постели. Не хочет жалованья».

Тогда же в одном из писем своих Толстой так охарактеризовал Н.Ф.: «Он по жизни самый чистый христианин. Когда я говорю ему об исполнении Христова учения, он говорит: “Да это само собою разумеется”, и я знаю, что он исполняет, всегда весел и кроток».

Своему другу А.А. Фету (Шеншину) Толстой говорил о Н.Ф.: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Эти отзывы чрезвычайно характерны для самого Толстого. Они обнаруживают, что Толстой в Н.Ф. прежде всего замечал и ценил то, что действовало на чувство, — наружность и образ жизни Н.Ф.

Завязавшееся знакомство повлекло за собой частые и продолжительные, а иногда и очень горячие беседы в крохотной «каморке» Н.Ф. Сюда по вечерам к гостеприимному хозяину собиралось иногда человек 4—6 гостей, среди которых были и Толстой и В.С. Соловьев. Разговоры обычно переходили в споры. Центром их бесед и споров был, конечно, Н.Ф. Его глубокомысленная речь, рассыпавшиеся мысли, как водопад, брызги, его остроумные сближения и выводы, его беседы поражали ученостью и образованностью решительно во всех отраслях знания, такой удивительной осведомленностью во всем, что собеседники называли Н.Ф. энциклопедистом в самом широком смысле. И рядом с ним сейчас же, как на весах, обнаруживалось достоинство и внутренний вес его знакомых.

Н.Ф. очень скоро заметил, что Л.Н. Толстой не блистал ни широтой образования, ни глубиной мысли.

Сколько раз, занимаясь собственным переводом Евангелия и выработкой своей веры, Толстой своими наивными вопросами, обращенными к Н.Ф., обнаруживал перед ним свою элементарную неосведомленность. Даже уже после того, как Толстой закончил печатание своих вероучительных и нравоучительных сочинений, был такой случай. Однажды Толстой пришел к Н.Ф. и с полной откровенностью обратился к нему с просьбою:

— Н.Ф., кто такой был Коперник? Говорят, у него была даже целая система. Правда ли это? Дайте мне что-нибудь почитать о нем...

Надо было видеть Н.Ф. в такие минуты. От изумления он буквально замирал и несколько мгновений был недвижим. Однако и в такие минуты сознание долга и желание служить людям превозмогали все другие чувства, и Н.Ф. бегом бросался отыскивать нужные книги.

Н.Ф. в своей жизни не знал ни непоследовательности, ни компромиссов. Очень не одобрял он, когда замечал их и в других. Толстой в этом отношении давал ему богатую пищу для остроумия.

Проповедуя заповедь о мире с людьми и о прощении обид, Толстой старался дать пример в собственном поведении и выполнял эту заповедь самым примитивным и общепринятым способом. Пospорив, например, с Н.Ф., даже поссорившись с ним вечером и уйдя от него в раздражении, он на другое утро сам приходил к Н.Ф. и искал примирения. Н.Ф. всегда шел навстречу такому проявлению дружелюбия, но сам находил такое обнаружение любви и смирения весьма неглубоким, поверхностным и не достигающим цели. Он говорил: «Мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая ее. Такое учение и проповедует Толстой: поссорившись накануне, он идет мириться на другой день; он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, выскивает их, может быть, для того, чтобы потом заключить непрочный мир».

По поводу «животного критерия» Толстой говорил, что птица так устроена, что ей надо летать, клевать, ходить, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица.

Н.Ф. очень не одобрял этой философии и говорил: «Таково ново-языческое мудрование Толстого, достоинство которого выразится несравненно яснее, если мы возьмем вместо птицы свинью: свинья так устроена, что ей необходимо постоянно жрать, предаваться сладострастию, пожирать даже своих детей, поросят, и когда она все это делает, она удовлетворена, счастлива, тогда она свинья...»

Также непонятна была для Н.Ф. и непоследовательность Толстого в отношении к изображениям живописным и фотографическим: изображения, например святых или иконы, Толстой отвергал со всею силою своего отрицания, доходившего почти до ненависти, а свои собственные изображения не только допускал, но и содействовал их появлению и распространению, позируя и перед художниками и фотографами. По этому поводу Н.Ф. писал: «Наиболее почитаемое — наиболее ненавистно Толстому. Он ненавидит чтимые русским народом иконы, а наибольшую ненависть питает к иконе, которую наиболее почитают, — к иконе

Иверской Божией Матери, называя Ее даже злою, и, конечно, потому, что, признавая за собою только право на всеобщее почитание, он не хочет с кем-либо делить его; отсюда и то, что, отвергая почитание икон, священных изображений, свои изображения, свои иконы Толстой распространяет повсюду, так что, если бы собрать все разнообразные иконы Толстого, — а это и будет когда-либо сделано, — получится громадный иконостас».

Уже после того, как Толстой выработал свою веру, напечатав свое сочинение «В чем моя вера» и осудив и отвергнув клятву и присягу, однажды он пришел, совсем не в урочное время, к Н.Ф. в каталожную Румянцевского музея. Н.Ф. редко бывал один, и на этот раз с ним были его сослуживцы, и между ними Д.П. Лебедев. Неожиданное появление Толстого и какая-то торопливость в его приемах обратили на себя внимание. Толстой объяснил, что пришел за последними справками, так как уезжает в свой уездный город. «Зачем?» — резко спросил удивленный Н.Ф. Толстой, как всегда, наивно и искренне ответил: «Вот прислали повестку, меня выбрали присяжным заседателем... Должен ехать судить...»

Н.Ф. не выдержал и засыпал его вопросами: «Как!.. вы отрицаете присягу и едете присягать?.. Вы отвергаете суд и будете судить?..» — «Как же мне быть?.. Ведь я не по своей воле... Меня заставляют. Полиция отобрала подписку, что я являюсь...» — пробовал отговориться Толстой, понимавший двусмысленность своего положения.

На выручку явился Лебедев, доставший свод законов и подыскавший статью, по которой налагался штраф за неисполнение обязанности присяжного заседателя. Толстой был очень рад узнать такой простой и легкий выход из своего затруднительного положения и, примирившись с мыслью уплатить штраф, ушел.

Через несколько дней после этого случая вся Россия читала телеграфные сообщения из Тульской губернии о том, что Толстой отказался исполнить обязанности присяжного заседателя как противоречившие его вере.

Не останавливаясь далее на частных случаях, выясняющих отношение Н.Ф. к Толстому, я перейду к изложению границы в их мировоззрениях. Л.Н. Толстой отрицал способность разума достигнуть познания и не признавал способности воли проявиться в деле. Н.Ф., горячий проповедник бесконечных возможностей, сокрытых в разуме и воле человека, остроумно называл ученье Толстого призывом к недуманью и неделанию. Он предусмотрительно провидел, что отрицание практического разума неизбежно вело к наукоборству. Н.Ф. верил в силу ума и силу воли человека и всю жизнь свою отдал неустанному и добровольному труду, проповедуя всеобщий труд со всеми и для всех... Естественно, что он не мог примириться с отрицанием того дела, которое он признавал единственным для всех, и резко осуждал все учение Толстого. По его взгляду, Толстой не понял призыва к миру и, прикрываясь учением о непротивлении — «этой самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом», — обратил его в призыв не платить податей, не исполнять воинской повинности, что порождает нестроения, восстания, вражду, т.е. прямо противоположные цели. «До сих пор, — писал Н.Ф., — неделание было теорией, но в забастовках оно переходит в дело и становится величайшим преступлением, ибо под неделанием, как и под непротивлени-

ем, скрывается восстание молодого против старого и господство худшего, не стесняющегося никакими средствами, над лучшими, желающими трудиться». Поэтому Н.Ф. часто называл Толстого «яснополянским фарисеем» и даже высказал чрезвычайно оригинальный взгляд на него. «В Толстом, — писал он, — который был другом крепостника Фета до самой смерти последнего и восхищался произведением этого писателя “Из деревни”, — в Толстом является мститель за отмену крепостного права: он жаждет разрушения государства и под маской крайнего либерализма призывает к отказу от воинской повинности, к неплатежу податей, без которых государство существовать не может...»

В итоге Николай Федорович считал всю философию Толстого лицемерием. По его словам, «обесценение жизни составляет основу философии Толстого, а лицемерие — вторую ее основу. Наш век в лице Толстого имеет такого представителя, какого он достоин и с которым он вместе лицемерит, будто бы не замечая того, что скрывается под проповедью непротивления».

Последний вывод всего учения Толстого приводил, по оценке Николая Федоровича, как раз к противоположному всему тому, что вначале и на словах ставилось целью. «Когда, — говорил он, — к требованию разъединения, этому требованию Толстого и вообще нашего времени, крошечному под вопросами о свободе мысли, о свободе совести, то есть о свободе бесконечных блужданий, создающей чрезвычайно множество философских учений, одно другое опровергающих, — если к требованию о разъединении присоединить еще требование Толстого об объединении на недумание и неделание, прямым приложением которого было приглашение к забастовкам, обращенное к студентам, а наконец и ко всем, — к забастовкам, как “единственному средству спасения”, как это говорится в заглавиях приглашения или прокламации, — тогда станет очевидным, что Толстой, сознательно или бессознательно, требует уничтожения труда как умственного, так и физического или механического, требует, следовательно, уничтожения разума, воли; и это согласно, конечно, с учением о нирване — уже не трансцендентной, а имманентной, т.е. самими создаваемой. А это и есть полное отрицание разума, воли, вообще — жизни. Вот явился, наконец, искупитель, спаситель, который хочет жизнью жизнь поправить и всем смерть даровать!»

Столь резкое расхождение в мировоззрениях, доходившее до взаимного исключения друг друга, делало самый разрыв между мыслителями уже только вопросом времени, но неизбежным. И этот разрыв между Ник. Фед. и Л.Н. Толстым наконец наступил, разрыв окончательный и бесповоротный, после которого и Толстой не пришел на другой день искать примирения.

Дело было в 1892 году.

Голодный 1891 год Толстой провел среди голодающих, устраивая столовые и всячески помогая голодным пережить бедствие. Николай Федорович очень сочувствовал помощи голодающим, но не верил искренности Толстого и опасался того, что Толстой принесет в деревню не мир, а вражду. Но и Николай Федорович не ожидал, что Толстой открыто выступит с призывом к восстанию и междоусобию. А именно такой призыв к мятежу и междоусобию он усмотрел в известном письме Толстого о голоде, напечатанном в Лондоне. Тягчайшего преступления,

чем братоубийство и призыв к нему, Николай Федорович не знал, и, прочитав лондонское письмо Толстого, Николай Федорович в ужасе выкинул автора его и из своего сердца, и из своей памяти.

Вернувшись в Москву, Толстой поспешил зайти в музей к Николаю Федоровичу.

Уже был четвертый час на исходе, и московские сумерки уже царили по залам и коридорам музея. Солдаты уже затворили большинство ставней, и Николай Федорович пригласил меня, остановившегося с ним в каталожной, закончить занятия и уходить. Едва мы повернули по коридору налево, как в глубине коридора я отчетливо увидел фигуру Толстого, торопившегося навстречу Николаю Федоровичу. Я передал Николаю Федоровичу свое наблюдение и сразу же был поражен неудовольствием, которого не скрыл Николай Федорович. Заложив руки за спину, он резко остановился, сказав:

— Что ему надо?

И сейчас же предупредил подходившего к нему Толстого вопросом:

— Что вам угодно?

— Подождите, — отвечал Толстой, — давайте сначала поздороваемся... Я так давно не видал вас.

— Я не могу подать вам руки... Между нами все кончено...

Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.

— Объясните, Николай Федорович, что все это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.

— Это ваше письмо напечатано в...

— Да, мое.

— Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.

— Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся...

Но Николай Федорович остался непреклонен, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел...